



Чайковский

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Последние годы

Гении и злодеи

Сборник
**Неизвестный Чайковский.
Последние годы**

«Алисторус»

2010

УДК 82-94
ББК 85.374

Сборник

Неизвестный Чайковский. Последние годы / Сборник —
«Алисторус», 2010 — (Гении и злодеи)

ISBN 978-5-6994-2166-1

Настоящее издание – попытка приблизить современников к личности и творчеству гениального русского композитора. Здесь описаны события последних пяти лет жизни П.И. Чайковского (1888–1893), когда им были созданы величайшие произведения – оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», музыка к балету «Щелкунчик» и Шестая («Патетическая») симфония, которой он впервые дирижировал сам. В книге, основанной на личной переписке Чайковского с братьями Анатолием и Модестом, композитором Сергеем Танеевым, поэтом Константином Романовым, Надеждой фон Мекк и другими, читателям откроется таинственный внутренний мир человека, музыке которого полтора века поклоняется мир и чьи произведения до сих пор являются самыми исполняемыми на земном шаре.

УДК 82-94
ББК 85.374

ISBN 978-5-6994-2166-1

© Сборник, 2010
© Алисторус, 2010

Содержание

«Я всегда полон тоски по идеалу...»	5
1885[1]	9
1888	15
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Неизвестный Чайковский. Последние годы

«Я всегда полон тоски по идеалу...»

Вместо предисловия

Если искать сходства в поэзии и музыке, – а что есть музыка, как не поэзия в звуках, и разве поэзия не вечная спутница, союзница музыки, – то, кажется, нет более гармоничного сближения, чем Пушкин и Чайковский. Сходство тут не только в мелодизме стиха и поэтичности музыкального языка. В совершенстве, просветляющем в любую эпоху смысл нашего бытия, в ясновидящей любви и сострадании, вседоступности гениальной простоты и задушевности, национальном русском достоинстве и той самой всечеловечности, о которой говорил Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине в день открытия опекушинского памятника поэту в Москве. И еще в чем-то непостижимо загадочном, что вызывает в памяти пушкинские образы, стоит зазвучать музыке Чайковского.

Всю свою творческую жизнь, начиная с юношеского романа «Песнь Земфиры» по поэме «Цыганы», Чайковский снова и снова возвращался к Пушкину, восхищаясь необыкновенной музыкальностью его вдохновенного поэтического слова, тем, что он «силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных стен стихотворчества в бесконечную область музыки... Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть *что-то*, проникающее в самую глубину души. Это *что-то* и есть и музыка».

Конечно, было бы очевидным преувеличением «отдавать» всего Пушкина только Чайковскому, равно как и всего Чайковского – Пушкину. Гений великого поэта – многогранный и многоликий – притягивал и вдохновлял М.И. Глинку и А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, а впоследствии С.В. Рахманинова и нашего выдающегося недавнего современника Г.В. Свиридова... В огромном наследии композитора – обилие произведений, и в том числе симфонических, в основу которых положена литературная классика.

Великая мировая литература подвигла П.И. Чайковского на создание грандиозных увертур-фантазий и симфонических фантазий – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Буря» по Шекспиру, «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте, симфонии «Манфред» по Байрону, опер «Орлеанская дева» по трагедии Шиллера и «Черевички» (в первоначальной редакции «Кузнец Вакула») по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также более старомансов на стихи Фета, Апухтина, А.К. Толстого, Плещеева, Полонского, Константина Романова, Майкова, Сурикова...

Пушкин и Чайковский. Они были бы современниками, если б насильственно не прервали жизнь Поэта. Но современниками разных поколений – отцов и детей. Они могли бы встретиться даже в Каменке, на Украине: и тот, и другой бывали здесь не раз... Но их пути пересеклись иначе. Без Пушкина, так же, как и без Глинки, Чайковский никогда не был бы таким, каким мы его знаем. Как человек и художник, он был воспитан ими, их творчеством.

С ранних лет мучимый тоской по совершенству, Чайковский был потрясен до глубины души поэтичностью онегинской Татьяны, ее «полной чистой, женственной красоты девической душой», ее «мечтательной натурой, ищущей смутно идеала...». С детства влюбленный в образ Татьяны и очарованный стихами Поэта, он однажды, проведя бессонную ночь, с восторгом перечитал «Евгения Онегина», тут же набросав сценарий.

«Ты не поверишь, – спешил поделиться композитор, вовсю увлеченный работой, с братом Модестом, – до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений (намек на бытующие в то время фабулы оперных спектаклей. – Т.М.),

всякого рода ходульности! Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки».

Собственно недостатки эти, объясняющиеся, как казалось Петру Ильичу, «сценическими неудобствами» и отсутствием привычных театральных эффектов, были, по сути, достоинствами – новаторством первой лирической русской оперы, названной им из скромности перед Пушкиным «лирическими сценами». Тут нельзя не вспомнить следующее. Несколько ранее один из последовательных недоброжелателей композитора, Цезарь Кюи, вынося свой суровый приговор предшествующей «Онегину» опере «Опричник» (по пьесе И.И. Лажечникова), в числе наиболее порицательных оценок высказал, быть может, самое уничижающее автора, что эта вещь хуже итальянских опер. И хотя сам Чайковский был себе лучшим – строгим и беспощадным – критиком, такое мнение коллеги-соотечественника не могло не оскорбить его патристических чувств прежде всего потому, что он, как никто другой, был обеспокоен тогдашним существованием и дальнейшей судьбой отечественного оперного искусства, вытесненного из собственного дома предприимчивыми иностранцами.

«В качестве русского... – сокрушался великий музыкант, – могу ли я, слушая трели г-жи Патти, хоть на одно мгновение забыть, в какое унижение поставлено в Москве наше родное искусство, не находящее для приюта себе ни места, ни времени? Могу ли я забыть о жалком прозябании нашей русской оперы в то время, когда мы имеем в нашем репертуаре несколько таких опер, которыми всякая уважающая себя столица гордилась бы, как драгоценнейшим сокровищем?»

Всем существом преданный родине («Я остаюсь и навеки останусь верен России»; «Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку-Русь вообще и ее великорусские черты в особенности») и, как он любил говорить, «русскому элементу» в музыке, то есть родственным с народной песней приемам в мелодии и гармонии, Чайковский не в меньшей степени, чем Пушкин, выразил в этом вдохновенном творении свою неизбывную любовь к «русскому человеку, к русской речи, русскому складу ума, русской красоте лиц, русским обычаям». Как и потрясающая своей эмоциональной стихией Четвертая симфония, сочинявшаяся параллельно с гениальной оперой, «Евгений Онегин» стал исповедью души композитора, жаждавшей излияния посредством музыки. А исповедовался он в том, чем было в ту пору переполнено его одинокое сердце.

Чайковский приближался к последнему пушкинскому возрасту – тридцати семи, переживая «критическую минуту» жизни: «Я приступаю к женитьбе не без волнения и тревоги, однако ж с полным убеждением, что это необходимо». Но роковая, как казалось, встреча с Антониной Милюковой, написавшей ему, подобно Татьяне Лариной, письмо с пылким признанием в любви, обманула надежды. Брачный союз распался через несколько недель, оставив осадок лютой злобы к бывшей жене и долго не проходящую депрессию. В письме к своему «доброму, невидимому гению» Надежде Филаретовне фон Мекк (они никогда не встречались, Петр Ильич был моложе влюбленной в него меценатствующей баронессы на девять лет) Чайковский открывался: «...Испытал ли я полноту счастья в любви... нет, нет и нет!!! Впрочем, в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня: понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви».

Поначалу Чайковский завершил «Онегина» счастливым концом, соединив Евгения и Татьяну. Но события собственной жизни вернули его к литературному первоисточнику. Позже в «Пиковой даме» композитор, напротив, усилит драматическую развязку пушкинской повести: недостижимость счастья приведет к гибели Германа и Лизу.

«Евгений Онегин» с его поэтичностью, искренностью и скромностью чувств, с его русскими характерами и атмосферой, впервые поставленный, по желанию автора, силами студентов Московской консерватории (1879), вскоре стал событием профессиональной сцены (Большой театр, 1881), ознаменовавшим национальный этап в жизни отечественного оперного театра. Еще при жизни автора опера получила мировую известность. Но если «Евгений Онегин» – только восхождение Чайковского к славе, то «Пиковая дама» – ее вершина. Их разделял путь в двенадцать лет, который дал России и миру десятки выдающихся произведений художника – симфонических, инструментальных, оперных, камерных (Чайковский создал целую панораму музыкальных сочинений в самых разных жанрах и для самых разных инструментов), и в том числе трио «Памяти великого художника», одухотвореннейшую Пятую симфонию, народную музыкальную драму «Чародейка», музыку к балету «Спящая красавица», программную симфонию «Манфред». И это помимо его деятельности дирижера, критика, педагога, пропагандиста отечественной культуры, концертных поездок по Европе, принесших русской музыке престиж за рубежом.

Считая такие выступления своим патриотическим, гражданским долгом, делом на пользу родине, Петр Ильич говорил: «Личность моя здесь ровно ни при чем. Русская публика должна знать, что русский музыкант, кто бы он ни был, с честью и почетом поддержал знамя отечественного искусства в больших центрах Европы». Эти бурные, насыщенные творческими событиями годы художника («Право, двух жизней не хватит, чтобы все исполнить, что бы хотелось») вновь отмечены обращением к Пушкину. Одно из них завершилось премьерой оперы «Мазепа» (по поэме «Полтава») в Большом театре (1884), другое – осталось намерением перенести на музыкальную сцену «Капитанскую дочку» и изобразить в опере пушкинского Пугачева, что, однако, в итоге композитор счел для театра по цензурным соображениям невозможным.

Оценивая прежние свои создания как все еще не совершенные, не мастерски сделанные, Чайковский приступил к самому таинственному сочинению – опере «Пиковая дама», которая явилась величайшим проявлением творческого духа. Всего за сорок четыре дня (с конца января по март 1890 года) во Флоренции родилась эта музыкальная драма, по художественной силе равная шекспировским трагедиям и сумевшая поставить пушкинскую повесть рядом с его непревзойденным «Евгением Онегиным».

Даже несмотря на сохраненную в целом авторскую сюжетную канву, расхождение в трактовке образов было очевидным. Превратив Германа из алчущего богатства расчетливого эгоиста в смятенного обстоятельствами и страстно любящего человека, в «жертву случая», Чайковский через страдания собственной изболевшейся, тоскующей души приходит к состраданию своему герою, который становится его вторым «я».

Взявшись за оперу с необычайной горячностью и пылким увлечением, по-настоящему переживая все происходящее в ней вместе с Германом, Лизой (так напоминающей «верный идеал» Татьяны), князем Елецким, даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы, он писал в письме брату М.И. Чайковскому, автору либретто: «Когда дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать... (подобного оплакивания своего героя со мной еще никогда не бывало, и я старался понять, отчего это мне так хочется плакать). Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, – а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным».

Крушение надежд, трагическое столкновение неистовой, ранимой, рвущейся к лучшему одинокой души с несовершенством и тщетной суетностью мира и, в конце концов, с роковой неотвратимостью судьбы – тема «Пиковой дамы», еще ранее заявленная в симфонии «Манфред», а, в сущности, духовный конфликт жизни самого Чайковского – подведут его к предсмертному, пронзительнейшему высказыванию в музыке – Шестой (Патетической) симфонии.

Невиданная мировая слава при жизни, какой не удостаивался ни один из русских композиторов, непреходящий успех на родине – и личная неудовлетворенность, острое желание бегства в уединенный уголок, в глушь, подальше от улюлюкающей толпы. «Блеск и суэта большого света не рассеют вечной, томительной тоски» – слова, которых нет у Пушкина, написанные автором оперы для Онегина в сцене петербургского бала, как и очень многое у Чайковского, автобиографичны. «Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное...» – это из послания уважаемому им человеку и композитору Александру Константиновичу Глазунову в дни работы над «Пиковой дамой» из Флоренции.

Чайковский предчувствовал скорый конец. Он умер в петербургской гостинице через несколько дней после премьеры своей Патетической симфонии, которой дирижировал сам. Версии его смерти до сих пор будоражат воображение, настолько неожидан для окружающих и загадочен был этот уход. В расцвете сил (правда, на последних фотографиях 53-летний композитор походил на глубокого старца), в зените славы...

«Я могу положить руку на сердце сказать, что совесть моя чиста и что мне нечего стыдиться; но думать, что когда-нибудь будут стараться проникнуть в интимный мир моих чувств, мыслей, во все то, что в течение жизни я так бережно таил от соприкосновения с толпой, очень тяжело и грустно. В этой борьбе между стремлением к славе и отвращением к ее последствиям заключается даже трагический элемент», – эти рассуждения композитора о полярных составляющих славы тем более трагичны в наше глумливое, оскверняющее истинные ценности время.

Все достоверное, документальное, что касается русского гения музыки, собрано в книге «Жизнь Петра Ильича Чайковского», составленной его младшим братом Модестом (1850–1916), драматургом, либреттистом, театральным критиком. Настоящее издание – завершающая часть этого бесценного для потомков труда – охватывает пять последних лет жизни композитора. Своеобразная автобиографическая повесть, как бы рассказанная словами его писем и дневников, книга с хронологической последовательностью и вместе с тем душевной открытостью воспроизводит дни П.И. Чайковского 1888–1893 годов, высвечивая разные стороны этой непостижимой личности, всегда полной тоски по идеалу.

Татьяна Маришкова

1885¹

I

После морального кризиса, пережитого во второй половине 1877 года, Петр Ильич искал и нашел спасение в удалении от всего, что в прежнем образе жизни требовало напряжения и борьбы с природными склонностями.

Во-первых, от всякой обязанности, от всякого труда вне музыкального творчества, т. е. от того, что впоследствии он называл «не настоящим» своим делом, считая «настоящим» одно сочинительство. Потом – от людей. Самим собой, как он часто выражался и на словах, и в письмах, Петр Ильич чувствовал себя только в одиночестве и в тесном кругу близких, где говорил, когда есть что сказать и когда хотелось что-нибудь сказать. «С чужими, – писал он в одном из писем, – я не умею быть *самим собой*, ибо натура моя не цельная, а в высшей степени надломленная. Как только я не один, а с людьми чужими и новыми, то вступаю незаметно для себя в роль любезного, кроткого, скромного и притом будто бы крайне обрадованного новым знакомством человека, инстинктивно стремясь всем этим очаровать их, что по большей части и удается, но *ценой крайнего напряжения*, соединенного с отвращением к своему ломанию и неискренности. Хочется сказать «убирайтесь ко всем чертям!», а говоришь любезности и иногда даже так увлекаешься, чтоходишь в роль и самому становится трудно отличить, где говорит *настоящее «я»* и где *ложное, кажущееся*».

Бежать от этого «крайнего напряжения», спрятаться от людей, уйти от всякого долга, сопряженного с насилием врожденных склонностей, в обстановку, где бы «настоящее я» исключительно могло отдаваться «настоящему» делу, было главным условием выздоровления.

В первое время после недуга доведенная до высшей степени чувствительность обращает самую незначительную «обязанность» действовать наперекор натуре в страдание, самых близких и преданных людей – в чужих. С присущей ему мнительностью Петр Ильич боится прочесть укор в их взглядах. Даже такие любимые и испытанные друзья, как Н. Рубинштейн, Н. Кашкин, Г. Ларош, Н. Губерт, К. Альбрехт и проч., ему поэтому в тягость. Встречи их редки, свидания холодны. Ему больно быть с ними, потому что говорить о случившемся он не в силах; молчать же – значит притворяться, опять-таки не быть «самим собой» и давать место тому *ложному, кажущемуся «я»*, которое внушает ему *отвращение*.

Вместе с этим в начале исцеления ему была необходима, как воздух, атмосфера любви, преданности и постоянных забот о нем, которые он нашел только в своей семье и в дружбе Н. Ф. фон Мекк.

Немолчное напоминание о том, что он кому-то дорог, нужен, каков есть, что существуют люди, для которых он причина счастья не только как музыкант, меньше всего как общественный деятель, а просто как самый дорогой человек, – составляет потребность чуть не каждой минуты дня. Во Флоренции брат Анатолий замешкался и опаздывает вернуться; этого достаточно, чтобы Петр Ильич уже беспокоился, спрашивал себя: «Что же будет, когда Анатолий уедет в Россию?»

Всякое насилие над собой для действия, чуждого природным свойствам, всякое напоминание об обязанностях приводит его в отчаяние: он снова близок к сумасшествию, когда его представительство России в музыкальном отделе Парижской выставки из области предположений переходит в факт.

¹ Печатается по изданию: *Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского*. В 3 т. Т. 3. М., – Лейпциг, 1903.

Говорить ему теперь о каких бы то ни было обязанностях вне творчества, требовать каких бы то ни было актов, чуждых «настоящему» Петру Ильичу, – значило только раздражать его, и он избегает всех, кто может это сделать, боится всех, кто имеет хоть какое-нибудь касательство до музыки, ему приятно только общество людей, которым нет никакого дела до его музыкальной деятельности, для которых он только «добрый, ласковый Петр Ильич». Можно сказать, что в этот период он дорожил людьми тем больше, чем меньше они дорожили его знаменитостью. Так, он радовался, когда в глуши южной России встречал людей, которые, любя и уважая его лично, с некоторым презрением относились к его музыкальной специальности, что случалось нередко. Наоборот, способен был на поступки грубого эгоизма, когда его искали как известного и ценимого музыканта. Умиравший Азанчевский и как деятель, и как человек, столь милый ему, делает с великим трудом путешествие в несколько часов от Ниццы в Сан-Ремо единственно для того, чтобы навестить Петра Ильича, которого считает «больнее» себя, и Петр Ильич имеет жестокость бежать от него, а когда это не удастся, то отказывается принять его. Бессердечие этого поступка терзает Петра Ильича, и все-таки он не находит сил превозмочь себя, так болезненно страшно для него всякое насилие над собой, всякое соприкосновение с людьми, для которых он не просто «милый человек», а П. Чайковский – композитор. Кроме потребности в строго интимной среде, кроме устранения всего, что требовало напряжения и борьбы, понятие об отдыхе заключало в себе еще более важное условие: полное удовлетворение потребности творчества. Чтобы быть покойным и счастливым, ему надо изливаться в звуках почти без усталости. Несколько дней безделья между двумя работами уже делают его беспокойным и несчастным. Все, что мешает отдаваться сочинению, расстраивает его до последней степени. Всякий приезд в Москву и Петербург вызывает в письмах жалобы и проклятия, для людей нормальных кажущиеся преувеличенными, но только бледно передающие то, что в действительности он испытывал; всякий посетитель во время часов, посвященных сочинению, иногда близкий и симпатичный, – его личный враг. Дни, в которые не подвинулась его работа, – пропащие, и он сокращает до минимума перерывы между концом одного труда и началом другого.

И такой-то «отдых», такое полное, неограниченное воцарение «настоящего» Петра Ильича делает период 1878–1884 гг. самым светлым и отрадным всей его жизни. Никогда ни до, ни после он не был счастливее и, сам того не подозревая, никогда, творя свободно и неустанно, более свято не исполнял своего долга перед человечеством.

Но сам Петр Ильич думал не так. Когда Н. Г. Рубинштейн назвал избранный им образ жизни «блажью», он обиделся на резкость выражения, но, в сущности, согласился со смыслом его, отвечая: «Да, я блажу, но временно в этом вижу мое спасение».

Только чувство говорит ему, что он прав, избирая образ жизни по склонностям, отдаваясь всецело влечениям «настоящего» Петра Ильича. Только права больного, сознание, что нет сил поступать иначе, дают ему смелость открыто заявлять: «Отныне буду делать, что хочу!!!» Рассудок видит в этом поблажку, извинительную вследствие сложившихся обстоятельств, необходимую для здоровья физического и морального, но все же поблажку «до поры до времени», когда силы окрепнут и он снова будет в состоянии *исполнять свой долг*. А долг, по его понятиям, «бороться с собой, не удаляться от людей, действовать у них на глазах, пока им этого хочется», т. е. избрать образ жизни, где вследствие общения с людьми все больше и больше поводов выступать «ложному», «кажущемуся я», где большая часть времени посвящена не «настоящему» делу сочинительства, а обязанностям «кажущегося», преходящего значения.

И вот, едва под влиянием тысячу раз благодетельного отдыха силы начали крепнуть, здоровье духа и тела возвращаться, как Петра Ильича стали мучить упреки совести в «эгоизме»; жизнь, состоящая из «угождения себе», стала казаться постыдной, интересы интимной обстановки – мелкими, и с начала восьмидесятых годов призыв выйти из уединения становится все громче, моральный покой мутится, и мало-помалу все изменяется к началу 1885 г.

Бодрый, сильный, не боящийся борьбы и напряжения Петр Ильич выступает вперед и ни в чем не похож на Петра Ильича 1878 года.

Он более не нуждается, как тогда, ни в чьей поддержке. Самостоятельность во всех подробностях существования становится одною из первых потребностей. Сознание обязанностей как общественного деятеля вне композиторства не только не пугает, но скорее манит, потому что есть силы исполнить их. Вместе с тем пробуждаются интересы, которых не могут удовлетворить замкнутые условия прежнего существования. Быть только «добрым, любимым человеком для окружающих» ему недостаточно, да и невозможно. Известность его имени благодаря колоссальному успеху «Евгения Онегина» проникла во все слои мало-мальски образованного общества России, ему это приятно и налагает на него известную роль, исполнять которую нетрудно, – в первое время, скорее, отраднo. Отраднo, потому что расточать внимание, ласку, готовность служить каждому есть способ выразить благодарность за восторженно приветливое отношение все большего и большего количества людей, наслаждающихся его музыкой. Он скорее ищет, чем прячется от людей, которым дорог не только как человек, но и как деятель. Среди последних первое место занимают его старые, преданные, испытанные московские друзья, и никогда до этого он не был с ними интимнее, никогда не видался чаще, с большим удовольствием, как с этой поры до смерти. Он счастлив при всяком свидании с Ларошем, Кашкиным, Юргенсоном, Альбрехтом, Губертом, Танеевым, и если смерть разлучила его с Н. Рубинштейном, то чувство дружбы и бесконечной преданности к покойному выражается в том, что он с энергией и интересом принимается по мере сил служить его осиротевшему делу.

В общем собрании 10 февраля 1885 года почетных и действительных членов московского отделения Русского музыкального общества Петра Ильича единогласно избирают в директора, и он с рвением берется за художественную часть дела. Певческая капелла Русского хорового общества обращается к нему с просьбой помочь ей содействием, и он начинает принимать деятельное участие в делах ее. Начальник синодальной типографии просит его быть членом наблюдательной комиссии по делам училища, и он не отказывается заседать в ней и проч.

В качестве самого популярного из музыкальных деятелей России он не только не бежит от общения с «собратьями по искусству», не только не способен больше ради личного покоя обидеть кого-нибудь, как обидел Азанчевского, но идет навстречу нужде в совете, помощи, указании, сам предлагает свое содействие и считает долгом не оставлять без ответа какое бы то ни было обращение к нему. Его переписка с «коллегами» с этого времени могла бы составить отдельную книгу полезных советов и указаний.

Пишут ему и настоящие музыканты, и дилетанты. Есть между ними талантливые, живо интересующие Петра Ильича, которым он отвечает охотно, есть и любители, «сочиняющие мотивы для души». И письменно, и лично его осаждают дамы, девицы, гимназисты, даже офицеры – решать их судьбу: быть им музыкальными деятелями или нет. Многие просят взять к себе в ученики, многие поручают ему популяризировать их сочинения, исполнять и печатать. Один «батюшка» обнаруживает при этом замечательное бескорыстие: он позволяет издать его духовные произведения у Юргенсона и всю *выручку* предоставляет Петру Ильичу в собственность, себе же скромно просит только «три экземплярика». Есть такие, что просят свидания для того, чтобы *напеть* свои сочинения, потому что написать не умеют, причем великодушно дарят эти перлы Петру Ильичу для того, чтобы он ими воспользовался. Одна дама посвящает ему свою мазурку, *но с тем*, чтобы он рекомендовал ее исполнять, иначе она лишает его этой радости. Музыканты-исполнители в огромном числе всяких стран, всяких достоинств: и превосходные, и слабые, и законченные, и начинающие, просят протекции: одни – показать себя, другие – учиться.

Немузыканты, те обращаются к Петру Ильичу по разным поводам: заявить свое сочувствие, преподать совет, рекомендовать либретто для оперы, стихи для романсов; один просит на 16 страницах «взять в свои честные и опытные руки защиту самобытности русского музы-

кального творчества», другой «встать во главе изгнания неметчины и еврейства из музыкальной России, дать вздохнуть русскому человеку от паразитов-иностранцев», дамы просят Петра Ильича разрешить их недоумение «был ли он счастлив с ней», «сказать свои вкусы» в музыке, «объяснить, что он, *собственно*, хотел сказать» тем или другим сочинением, обещают «полную откровенность», если с ними будут откровенны, настаивают на «беседе для обмена взглядов» и проч.

Затем следует ворох обращений более прозаических с просьбами об автографах, портретах и денежных пособиях.

И на все это Петр Ильич отвечает с изумительной добросовестностью, часто затевает целую переписку, старается исполнить возможно большее количество просьб, что вызывает восторженную благодарность просителей, часто в глубоко трогательной форме, иногда в забавной.

Как сочинитель Петр Ильич не прячется больше в скорлупу, не оставляет больше своих произведений на произвол судьбы, не считает недостойным распространение их путем знакомств с влиятельными в музыкальных сферах людьми, впоследствии – путем личного дирижирования. И с 1885 г. деловая переписка с издателями, антрепренерами и представителями разных музыкальных учреждений России и Европы возрастает колоссально. Количество верст, которые он сделал с этого времени в постоянных переездах между Петербургом и Москвой, между Кавказом и Западом Европы, между городами Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Америки, исчисляется десятками тысяч верст.

За все это Петр Ильич после семилетнего отдыха принимается бодро, даже с увлечением.

Как бодрость и увлечение мало-помалу сменяются утомлением, как незаметно сначала, а потом все громче и громче «настоящий» Петр Ильич снова начинает заявлять свои права, считает все свои труды вне сочинения «бездельничаньем бесцельным, случайным, только сокращающим век», как «страшное усилие воли, чтобы продолжать этот образ жизни» порождает «какую-то усталость от жизни, какое-то разочарование, по временам безумную тоску, нечто безотрадное, безнадежное, финальное и даже, как это свойственно финалам, банальное» – составит содержание этого тома.

II

Новые условия жизни отражаются на биографическом материале, расширяя круг знакомства Петра Ильича, и «недотрога» 1878 г., приходивший в отчаяние от часа беседы с чужим человеком, вступает теперь в приятельские, почти дружеские отношения с такой массой лиц, что если бы здесь, руководясь примером предшествующих томов, пытаться дать даже краткую характеристику их, то более половины книги, кажется, ушло бы на это.

Что ни город, где пожил хоть короткое время Петр Ильич, – новые приятели, всей душой привязывающиеся к нему и заявляющие права на монополию его дружбы. Они не подозревают, что в следующем месте, куда он едет, его встречают люди столь же ему дорогие, столь же преданные, которым он принадлежит постольку же. Со многими из них он вступает в оживленную переписку. С некоторыми она длится до конца дней Петра Ильича, с другими после двух-трех лет прекращается, давая место новой.

Самыми значительными и интересными из этих переписок являются: 1) с Юлией Петровной Шпажинской, женой известного драматурга; началась она с 1885 г. и длилась до середины 1891 г.²; 2) с Эмилией Карловной Павловской, известной певицей, ценимой Петром Ильичом за выдающийся драматический талант. Дружески сошелся он с почтенной артисткой в 1884 г.

² Я сужу о значительности ее только по письмам корреспондентки, хранящимся в архиве П.И. в Клину, в количестве 77. Писем же П.И. нет, хотя, по моему расчету, должно быть не менее семидесяти.

на репетициях «Мазепы» в Москве и очень ревностно переписывался до 1888 г.; 3) с его императорским высочеством великим князем Константином Константиновичем. Возникла эта в высшей степени интересная переписка в 1884 г. и продолжалась до смерти Петра Ильича; 4) с композитором М. М. Ипполитовым-Ивановым и его женой, известной певицей В. М. Зарудной; 5) с А. А. Герке, видным деятелем Рус. муз. общества; 6) с Владимиром Эдуардовичем Направником, сыном знаменитого дирижера; 7) с пианистом В. В. Сапельниковым; 8) с директором театров И. А. Всеволожским; впрочем, эту переписку можно с одинаковым правом отнести к деловой, так же, как и 9) письма к И. Прянишникову, известному певцу, а потом антрепренеру оперы в Киеве и в Москве; 10) с пианистом Л. И. Зилоти; 11) со скрипачом Ю. Конюс; 12) с г-жой Эмилией фон Таль; 13) с композитором А. К. Глазуновым; 14) с Дезире Арто; 15) с первой своей учительницей музыки М. М. Лонгиновой. Кроме того, у Петра Ильича значительно возрастает переписка с приятелями прежнего времени: со скрипачом А. Бродским, с Н. А. Губертом и его женой, А. И. Губерт, урожденной Баталиной, с француженкой, наставницей дочери Н. Кондратьева, Эммой Жентон, с Н. Конради, с Б. Б. Корсовым, с В. Пахульским, с кузиной Анной Петровной Мерклинг и проч.

Взятая в отдельности, каждая из этих переписок рисует в подробностях одну из сторон морального существа Петра Ильича и составляет очень интересное целое. Здесь он выступает то в роли утешителя и мудрого советника, то старшим другом собрата по ремеслу, то приятным и умным собеседником о своем искусстве и литературе, то просто говорит о себе и текущих делах – но только редкими проблесками, потому что ему хочется и есть что сказать. Большею же частью письма эти, несмотря на непринужденность стиля и всегдашнюю искренность и правдивость корреспондента, носят след насилия над собой, отпечаток добросовестно исполняемого долга и, даже взятые все вместе, не могут дать того, что давали до сих пор письма к Н. Ф. фон Мекк, к родным и старым друзьям московского периода. Количественно документальный материал жизнеописания возрос в огромном размере, но качественно представляет куда меньше интереса.

То же можно сказать о множестве приятельских отношений этого последнего периода жизни, не оставивших письменных следов. Не только характеризовать, но перечислить их трудно, до того они многочисленны и разнообразны. Среди этих новых друзей большинство музыканты, называю только некоторых: А. К. Лядов в Петербурге, Е. Карганов в Тифлисе, И. Слатин в Харькове, И. Альтани, Антони Симон, братья Конюс в Москве, Эдвард Григ, София Менгер, Зауер, Луи Диермер, Э. Колонн, скрипач Галир – за границей. Затем пестрая толпа приятелей всяких положений в обществе, знатных и незнатных, всяких возрастов, самых неожиданных профессий: так, Петр Ильич очень дружит с французским актером Гитри, которого он полюбил сначала за гениальный талант, а познакомившись ближе, за блеск, остроумие, тонкую наблюдательность, за наслаждение, доставляемое его декламацией, за ласковость и чисто русскую ширину натуры. – У постели умирающего Н. Д. Кондратьева он сходится, совсем как с равным, с камердинером покойного, А. Легошиным, и отмечает в своем письме ко мне: «Я все более и более ценю Легошина. Я бы желал, чтобы между «господами» мне указали на более чистую, безупречно светлую личность»; и другой раз в дневнике: «Господи, и подумать, что большинство брезгает дружбой с прислугой, когда между ними так часто бывают люди, как Легошин!» И Петр Ильич не брезгает: после смерти Н. Д. Кондратьева, каждый раз, что он в Петербурге, приглашает Легошина пообедать или завтракать с собой, берет на лето к себе его жену и детей, принимает живое участие в устройстве его дел.

Однажды на вечере у общего приятеля, В. П. Погожева, Петр Ильич познакомился с генералом М. И. Драгомировым. Виделся он потом с ним не более трех-четырёх раз, но в внезапной и сильной взаимной симпатии, которую оба почувствовали друг к другу, были зародыши настоящей и сильной дружбы. Приезжая в Париж, Петр Ильич чувствовал себя, как среди родных, в обществе жены и дочери хозяина гостиницы Ришпанс, Г. Белара.

На пароходе, при переезде из Франции в Россию, он знакомится с феноменальным по очарованию и по способностям, но, к несчастью, смертельно болезненным мальчиком, сыном профессора Склифасовского, и у него завязывается дружба с ним, правда очень кратковременная, потому что менее чем через год ангелоподобного юноши не стало, но оставляющая глубокий след в душе Петра Ильича. Он плакал и тосковал, как по родном, узнав о его кончине, и посвятил памяти его «Chant elegiaque», op.72. № 14.

Как с корреспонденциями этой поры, отдельно каждое из этих отношений очень интересно и рисует поразительную способность Петра Ильича применяться к кругозору самых разнообразных лиц, чувствовать себя хорошо в обществе собрата по ремеслу, и ребенка, и лакея, и князя, и дамы, и военного героя, и девицы, и дряхлого старца, каждое поэтому могло бы составить отдельный этюд, очень занимательный и содержательный; все вместе они дают Петру Ильичу ту атмосферу любви и участия, которая была ему нужна, как воздух, но ни одно по глубине и прочности не может сравниться с дружескими связями прошлого, не вплетается так неразрывно и тесно в самую суть существования его и не вносит ничего нового в его моральное существо. Время закрепления настоящей дружбы миновало безвозвратно, и Петр Ильич теперь слишком принадлежит всем, чтобы возможно было отдаваться всей душой немногим. Чем шире к концу жизни круг его приятелей, тем меньше он принадлежит каждому.

Вот почему для полноты жизнеописания Петра Ильича, помимо того, что невозможно, но и нет нужды останавливаться на характеристике его новых приятелей. В сравнении с тем, что он вносит в их жизнь, они дают ему мало.

Прежде чем приступить к последовательному изложению событий последнего периода жизни Петра Ильича, остается только отметить здесь возрастание одной из самых больших привязанностей его. В семье Александры Ильиничны Давыдовой было трое сыновей. Второй из них по старшинству, Владимир, с первых лет своего появления на свет, в 1871 году, был всегда любимцем Петра Ильича, но до восьмидесятых годов предпочтение это имело характер несерьезный. Петр Ильич баловал его больше других членов семьи, и затем ничего. Но с той поры, как из ребенка стал формироваться юноша, симпатия дяди к нему стала возрастать, и мало-помалу он полюбил мальчика так, как любил близнецов-братьев в детстве. Несмотря на разницу лет, он не уставал в обществе своего любимца, с тоской переносил разлуку с ним, поверял ему задушевнейшие помыслы и, в конце концов, сделал его своим главным наследником, поручая ему заботу о всех, судьба которых после его смерти его беспокоила.

< ... >

1888

I

С 15 декабря 1887 года начинается новая и последняя эпоха существования Петра Ильича. В течение ее осуществляются все его самые заветные мечты о славе; с внешней стороны он достигает такого материального благополучия и всеобщего почета, какой выпадает при жизни немногим художникам. Мнительный и скромный от избытка гордыни, он не перестает радостно удивляться, встречая и на чужбине, и в России гораздо больше сочувствия своему делу, чем ожидал получить при жизни. Здоровый физически не больше и не меньше, чем прежде, нежно и безгранично любимый нежно и безгранично любимыми им – он являет образец возможного счастья на земле – и менее счастлив, чем когда-нибудь.

Грозное «стук, стук, стук» Пятой симфонии Бетховена, глухо, отдаленно прозвучавшее в день первого концерта под личным управлением 5 марта, непонятная, беспричинная отравка, эта «ложка дегтя», как говорит сам Петр Ильич, чудных минут величайшего наслаждения чувствовать себя властелином оркестра, господствовать над морем звуков, небольшим движением вызывать и укрощать ураганы гармонических сочетаний, имела значение предвестника тех страданий, которые омрачали все последние годы жизни его. Смутное предостережение этого мрачного предвестника осталось тогда не понятым Петром Ильичом; но позже, когда дошло до сознания, он в нем сам разобрал дружеский совет – бросить погоню за славой, не браться за дело, чуждое природе, не расходовать сил на то, что вернее и прочнее придет само собой, делать, что призван делать, пророча в противном случае на избранном пути одни разочарования. 13 ноября перед поездкой за границу Петр Ильич писал Н. Ф. фон Мекк: «Предстоит бездна новых и сильных впечатлений. Вероятно, известность моя возрастет, но не лучше ли сидеть дома и работать? Бог знает! Одно скажу, что сожалею о тех временах когда меня спокойно оставляли жить в деревенском уединении». И чем дальше, тем это сожаление было жгучее, утомление от тягостных усилий – невыносимее, и чем большего достигал он на чуждом натуре поприще, чем становился знаменитее и славнее, тем глубже было разочарование в достигнутом. Лучезарное и блестящее издали, вблизи – представлялось ничтожным и тусклым. Отсюда то неизмеримое отчаяние, «безумная тоска, нечто безотрадное, безнадежное, финальное», что составляет фон картины его блестящих успехов в России и за границей.

Описание первого концертного путешествия по Германии, сделанное самим Петром Ильичом так обстоятельно и хорошо, я считаю известным читателям этого труда и потому, не приводя его здесь, покажу только часть материала, который служил автобиографу для его статьи.

Дневник

15 декабря 1887 года.

Выехал, сопровождаемый родными, Направником, Погожев³. (На вокзале был молебен). Завтрак. Царский поезд и царь, которого я видел промчавшимся мимо нас. Отделение большое по протекции кондуктора.

К М. Чайковскому

Берлин. 10/18 декабря 1887 года.

³ В. П. Погожев, управляющий конторой импер. театров.

<...> Дорога была довольно приятна благодаря чтению интересных книг, хотя по вечерам находило уныние. Пил так много по сему случаю коньяка, что еще до Берлина выбросил пустую бутылку, которая при выезде была полна. Подъезжая к Берлину, ужасно боялся, что г. N⁴ все-таки придет. Однако, слава Богу, не было его. В гостинице спросил чаю и «Fremdenblatt», в коем прочел о себе, что я в Берлине, что мои *друзья и поклонники* (???) устраивают мне торжественный завтрак 30-го, в час пополудни, и кто-то (*man bittet*) просит не опаздывать!!! Моей злобе и ужасу нет подходящих выражений; охотно бы в эту минуту убил N. Дремал до 11 часов. Пошел в Пассаж в кафе, позавтракал – и в музей, боясь на каждом шагу встретить N или вообще каких-то *друзей-поклонников*. Зима здесь совсем как в Петербурге, и значительное число господ ездит в санях всевозможных фантастических форм. В музее вспоминал тебя перед Св. Антонием Мурильо и вообще испытал значительное удовольствие. За табльдотом было бы чудесно (ибо, по-моему, нет в мире более вкусной кухни), если бы против меня не уселся хозяин и все не заводил со мной разговоры о России, о политике и т. д. После того долго ходил пешком и очень страдал от холода, ибо никто в калошах и в шубах не ходит, и я, отвыкши от заграничного *некутанья*, ходя как все, без калош и в пальто, просто погибал от холода. Домой вернулся, накупивши порядочно книг, в том числе «30 ans a Paris» E. Daudet. Тут началось уныние, грусть, тоска и отчаяние. Несколько раз решался бросить все и уехать домой. В самом деле, это неподходящая для меня жизнь, особенно в мои старые годы. Написал N, чтобы он на другой день явился в 10 часов. После того, как водится, плакал, а потом стало легче; спросил лампу, чаю и с немалым удовольствием читал, изредка содрогаясь при мысли о N, Берлине и т. д. Спал очень хорошо. Утром невыразимо волновался в ожидании N; мне казалось, что этот злодей придет с исключительной целью меня терзать. Он явился и оказался вовсе не антипатичным. Я сразу объявил ему, что никого сегодня не желаю видеть и ни к кому не пойду. Деликатным образом удалил его, сходил в Пассаж позавтракать и прочитать «Новое время»; потом прогулялся по Тиргартену (масса катающихся в санях, в том числе иные с русской упряжью). В 7 часов за мной зайдет N, и я пойду в концерт, где играют «Реквием» Берлиоза и где я увижусь с некоторыми нужными лицами. Что дальше будет – не знаю, а пока невесело.

К М. Чайковскому

Лейпциг. 21 декабря 1887 года.

Моя, очень трудно точно и подробно описывать все, что я переживал и буду чувствовать в ближайшем будущем. Главное, что не нахожу времени. В Берлине я был на большом концерте, где под управлением Шарвенка шел «Реквием» Берлиоза. Тут мой N чуть не

⁴ Г. N – концертный агент, который пригласил Петра Ильича сделать артистическое путешествие по Германии. П. И. говорит в своем описании о нем так: «В течение двух месяцев, предшествовавших моему отъезду, я был в оживленном письменном общении с неким г. N, заграничным концертным агентом, проявившим по отношению ко мне и к акклиматизированию моих сочинений за границей какое-то особенно горячее, необузданное рвение, доходившее до того, что он считал возможным, чтобы я посетил целый ряд второстепенных германских и австрийских городов, давая в них концерты, причем г. N до крайности преувеличивал интерес, возбуждаемый моей музыкой в двух соседних империях, а я, смутно понимая, что г. N заходит слишком далеко в своем рвении, откладывал принятие или непринятие его предложений до личного знакомства, которое должно было состояться в Германии. Когда же оно состоялось, то мне пришлось иметь дело с человеком очень оригинальным, странным и до сих пор мною не постигнутым. Вследствие ли неопытности и неумелости, вследствие ли природной непрактичности и бестактности, или, наконец, просто по причине какого-то ненормального болезненного состояния ума и души, – но только г. N ухитрился, бывши, по-видимому, преданным моим другом, действовать иногда вполне враждебно. Он сумел оказать мне несколько очень важных услуг, за которые благодарность моя к нему никогда не изгладится из моего сердца, но вместе с тем он был виновником нескольких крупных неприятностей и огорчений, испытанных мной во время моей поездки. Так я доселе не составил себе правильного понятия об этой странной личности, в которой все для меня загадочно: и его национальность (он называет себя русским, но говорит на этом языке плохо), и его положение в свете, и особенно те побуждения, которыми он руководился, относясь ко мне то с чрезвычайным усердием к своеобразно понимаемому им моему артистическому интересу, то преследуя меня враждебными выходками, то оказывая мне действительные, важные услуги. Как бы то ни было, но я теперь же должен сказать, что именно его инициативе я обязан приглашениями в Лейпциг, Прагу и Копенгаген.

рассорил меня с филармоническим обществом, заставив поневоле нанести обиду его председателю. Долго и скучно рассказывать. Познакомился с Шарвенкой и массой лиц. Столкнулся нос с носом с Арто⁵. На другой день побывал у Бока (все удивляются, что я с N, который за мной, как тень, ходит). Уехал днем в 3 часа в Лейпциг, к счастью, без N. Меня встретили Бродский и Зилоти и два моих поклонника. Гостиница чудная. Ужинал у Бродского. У него была елка. Жена его и сестра ее очаровательные русские, добрые бабы, и я все время удерживался от слез. На другой день утро прогулял (это был ихний Новый год), а к обеду с Зилоти пошел к Бродскому. У него была репетиция нового трио Брамса, и сам Брамс⁶, красный, несносный, небольшой полный человек, обошелся со мной ласково. Затем был обед. Брамс любит выпить. Был еще очаровательно симпатичный Григ⁷. Вечером был в концерте Гевандгауза, где Иоахим и Гаусман играли новый концерт Брамса для обоих инструментов, и сам Брамс дирижировал. Я сидел в парадной директорской ложе, познакомился с такой массой разных лиц, что перечислить нет возможности. Директора объявили мне, что на завтра назначена репетиция моя. Описать мои страдания, как в этот вечер, так и за все это время нет никакой возможности. Если б не Бродский и не Зилоти – умереть. Ночь была ужасная. Репетиция состоялась сегодня утром. Рейнеке⁸ торжественно представил меня оркестру. Я сказал небольшую немецкую речь. Репетиция, в конце концов, сошла отлично. С Брамсом (который сидел на репетиции) виделся множество раз вчера и сегодня; мы стесняемся друг с другом, ибо не любим друг друга, а впрочем, он ужасно старается быть любезным. Григ очарователен. Обедал у Зилоти. Вечером в квартете. Новое трио Брамса. Тоска. Устал до безобразия.

Нельзя себе представить, до чего роскошен зал Гевандгауза. Это самое дивное концертное помещение, которое я в жизни видел.

К П. И. Юргенсону

Лейпциг. 24 декабря 1887 года.

<...> Вчера была генеральная публичная репетиция. Я волновался невероятно еще накануне, а перед выходом просто умирал. Но успех был необыкновенный, самый горячий и лестный. Оркестр, критики, все близкие к музыке относятся ко мне необыкновенно мило и сочувственно, и после вчерашнего успеха я сделался каким-то триумфатором. Сегодня вечером все это может перемениться, ибо в концерте я могу так сконфузиться, что страх. С Брамсом я кутил, он страшный любитель выпивки, человек очень милый и вовсе не такой гордый, как я воображал. Но кто совершенно очаровал меня, так это Григ. Это очаровательно симпатич-

⁵ Это была первая встреча после 1869 г.

⁶ В своем описании пребывания в Лейпциге П. И. так рисует Брамса и Грига: «Брамс – человек небольшого роста, очень внушительной полноты и чрезвычайно симпатичной наружности. Его красивая, почти старческая голова напоминает голову благодушного, красивого немолодого русского священника; характерных черт красивого германца Брамс вовсе не имеет, и мне непонятно, почему какой-то ученый этнограф (это сообщил мне сам Брамс по поводу высказанного мной впечатления, производимого его наружностью) выбрал его голову для воспроизведения на заглавном листе своей книги или атласа характеристических черт германца. Какая-то мягкость очертаний, симпатичная округленность линий, довольно длинные и редкие седые волосы, серые добрые глаза, густая с сильной проседью борода – все это скорее напоминает тип чистокровного великоросса, столь часто встречающийся среди лиц, принадлежащих к сословию нашего духовенства. Брамс держит себя чрезвычайно просто, без всякой надменности, нрав его веселый, и несколько часов проведенных в его обществе, оставили во мне очень приятное воспоминание».

⁷ «В комнату вошел очень маленького роста человек, средних лет, весьма тщедушной комплекции, с плечами очень неравномерной высоты, с высоко взбитыми белокурыми кудрями на голове и очень редкой, почти юношеской бородкой и усами. Черты лица этого человека, наружность которого почему-то сразу привлекла мою симпатию, не имеют ничего особенно выдающегося, ибо их нельзя назвать ни красивыми, ни неправильными; зато у него необыкновенно привлекательные средней величины голубые глаза, неотразимо чарующего свойства, напоминающие взгляд невинного, прелестного ребенка. Я был до глубины души обрадован, когда, по взаимном представлении нас одного другому, раскрылось, что носитель этой безотчетно для меня симпатичной внешности оказался музыкантом, глубоко прочувствованные звуки которого давно уже покорили мое сердце. То был Эдвард Григ».

⁸ К. Рейнеке, известный композитор, приятель Р. Шумана и в течение многих лет дирижер концертов Гевандгауза.

ная личность, так же, как и жена его. Рейнеке ужасно любезен. Перед первой репетицией он представил меня оркестру, и я сказал по-немецки спич: «Meine Herren, ich kann nicht deutsch reden, aber ich bin stolz, dass ich mit einem so... so... das heist... ich bin stolz, ich kann nicht...» Таков был спич. Оркестр здесь превосходный; я даже не знал, до чего наши оркестры, как они ни хороши, все-таки уступают первоклассным немецким. С голосами сюиты произошла целая история. У меня всего было на 6 пультов, а здесь их 10. Достали у Форберга, но пришлось ставить знаки, переправлять...

25 декабря.

Концерт сошел благополучно. После фуги сильно аплодировали, после второй части тоже, после 3-ей и *marche miniature* меньше; после конца два раза вызывали. Вообще прием очень хороший, но нечего и сравнивать с тем, что было на репетиции, где публика состоит из студентов и музыкантов. Я провел вечер после концерта на вечере, данном в мою честь Рейнеке. Он рассказывал много интересного про Шумана, и вообще мне было у него приятно. После того должен был еще отправиться на студенческий праздник русских студентов. Вернулся поздно ночью. Сейчас еду на *Tschaikowsky-Feier* в *Liszt-Verein*. Он начинается в 11 ч. утра.

Завтра еду в Берлин для окончательных переговоров со Шнейдером о концерте 8 февраля. Оттуда хочу на три дня куда-нибудь спрятаться и отдохнуть перед Гамбургом⁹.

К П. И. Юргенсону

Берлин. 23 декабря 1887 года.

<...> В день, когда я тебе отправил последнее письмо, был *Tschaikowsky-Feier* в Листферейн. Играли мой квартет, мое трио и мелкие пьесы. Публика была очень восторженная; мне поднесли огромный венок с весьма лестной надписью. Засим мы большой компанией жестоко кутили. На следующий день я уехал. Меня провожали приятели старые и новые. В день отъезда я обедал у Бродских с Григами. Я очень подружился с этим милейшим маленьким человечком и с его женой. В Берлине меня встретил Адольф Бродский, который еще накануне участвовал в бюловском концерте с большим успехом. Вчерашний день мы провели с ним неразлучно. Я имел совещание с директорами филармонии о моем концерте. Он состоится 8 февраля при весьма торжественной обстановке. С Гуго Боком¹⁰ я имел большое совещание; он очень ловкий и умный малый. Он как-то особенно добр и мил и очень симпатичен. Сегодня едем с Бродским в Гамбург. Завтра там бюловский концерт, в коем Бродский участвует. Моя первая репетиция 17/5 января. В промежутке между 10 и 17 я имею свободные дни и хочу удрать в Любек и скрываться. Моя усталость от преизобилия впечатлений и волнений дошла до последней степени, и одиночество мне необходимо. В Копенгаген не поеду, ибо мне предлагают невозможные дни.

К М. Чайковскому

Любек. 30 декабря 1887 года.

<...> Боже мой, какое счастье, и как я себя хорошо чувствую, очутившись в незнакомом городе, в чудесной гостинице и имея в виду целых 5 дней одиночества и полного спокойствия! Из Берлина выехал третьего дня и в 6 часов утра был в Гамбурге. Ехали вместе с Бродским. В 10 часов была репетиция бюловского концерта, в коем Бродский участвовал. Бюлов был очень обрадован меня видеть. Он изменился, постарел, стал как-то мягче, спокойнее, кротче. После

⁹ Ввиду громадного значения этого первого дебюта Петра Ильича в качестве дирижера-автора в образцовейшем из всех концертных учреждений мира, а также чтобы дать сразу возможно полное представление об отношении к нашему композитору немецкой критики в музыкальной столице Европы, каковой по справедливости считается Лейпциг со времен Мендельсона Бартольди, я привожу полностью все имеющиеся у меня газетные отзывы, начиная со строжайшего из всех критиков Бернсдорфа, в течение многих лет громившего на столбцах «*Signale*» современное направление музыкального искусства.

¹⁰ Главным представителем музыкальной фирмы Bote & Bock в Берлине.

репетиции завтракал с Бродским в одном из знаменитых гамбургских погребов. Потом был с деловыми визитами и окончательно установил программу концерта, репетиции и т. д. Вечером был в концерте. Бюлов гениально дирижировал, особенно «Героическую симфонию». Сегодня приехал сюда. Чувствую себя очень приятно. Какое блаженство молчать, какое наслаждение знать, что никто не придет, никуда не потащит!!

К М. Чайковскому

Любек. 1/13 января 1888 года.

<...> Наконец дождался, что январь наш начался. По крайней мере теперь можно считать, что осталось ровно четыре месяца до возвращения в Россию. Живу я здесь очень приятно и, несмотря на то, что в таком странном месте и полном одиночестве встречал Новый год, не испытываю тоски даже. Уж больно я нуждался в свободе и молчании. Погода стоит божественная, гуляния в Любеке мне нравятся. По утрам занимаюсь; перед обедом выхожу гулять: в час с четвертью иду в табльдот и упорно молчу, наблюдая за соседями – актерами и актрисами, живущими здесь, – превесело! Гуляю. Занимаюсь. Третьего дня вечер провел в бане и ужинал у себя в комнате, а вчера был в театре. Приезжал на одну гастроль Барнай. Давали «Отелло». Он местами удивительно хорош, даже гениален, но какая мучительная пьеса! Уж слишком омерзителен Яго – таких людей не бывает. Обстановка была скверная, Дездемона не бездарна, Яго ужасен, Родриго удивительно симпатичен, а Кассио смешон невероятно. Поужинал дома, почитал роман Муравлина (очень талантливая вещица, и особенно меня восхитило описание чувства автора, когда в обществе с ним говорят о его сочинениях) и рано лег спать. Сегодня погода опять божественная. Одним словом, хорошая полоска из теперешней жизни.

Здесь надо помянуть, что 1 января 1888 года Петр Ильич был осчастливлен высочайшей милостью. По ходатайству директора имп. театров И.А. Всеволожского ему была дарована ежегодная пожизненная пенсия в 3000 рублей из Кабинета его императорского величества.

К М. Чайковскому

2/14 января 1888 года. Любек.

<...> Вчера вышла вечером неприятность, испортившая мне все удовольствие пребывания в Любеке. Пошел я вечером в оперу, давали «Африканку». Шло, несмотря на маленький оркестр, маленький хор, очень сносно. Конечно, в исполнении было много комически провинциального, но, в общем, очень гладко и чисто. В антракте выхожу, как вдруг подходит господин: «Позвольте представиться, я – Огарев, правовед, композитор, мою оперу давали в Шверине. Позвольте вас познакомить – г. такой-то, а вот это Herr Musikdirektor такой-то», и пошло, и пошло!.. Меня потащили пить пиво, познакомили с массой каких-то немцев, хотели вести в клуб, а Огарев – все про свою оперу... Боже мой, как это было ужасно! Проводили до дома: я уверял, что я болен, что завтра утром еду. Оказалось, что сын хозяина гостиницы – любитель музыки; я уж давно замечал, что он указывал на меня в табльдоте. Это он меня выдал. Сегодня велел портье говорить всем, что я уехал, и целый день сидел в комнате. Только тайком гулять немного ходил. Получил известие о пенсии. Конечно, это большое счастье, но я его пойму завтра, сегодня я мучился, как выразить благодарность, и с невероятным усилием написал письма благодарности.

Дневник

3 января 1888 года. Любек.

Господи, сколько еще до мая осталось! Неужели я выдержу все это? Чувствовал себя утром неважно. Холодно на дворе. Прогулку совершил ту же, что вчера, и на том месте, где вчера белку долго рассматривал, и сегодня искал ее, но не нашел. После обеда (в комнате)

ходил долго по комнате, потом дремал. А потом такая наступила тоска и скука, что хоть в петлю лезть. Неужели я выдержу 4 месяца?? Читал Мопассана «Пьер и Жан» и плакал. В 7 часов гулять ходил. Заходил в кафе, где, как у нас, оркестрион играл. Боже мой, как я люблю нашу Русь, дорогую, милую!!.. Теперь 10 часов. Опять будет чтение, опять пьянство... О господи!

К М. Чайковскому

6 января 1888 г. Гамбург.

<...> Вчера и сегодня были репетиции. Волнений и страхов описывать не буду. Музыканты относятся с величайшей симпатией. Тоска прошла, но все-таки одна мысль в голове – скоро ли все это кончится? Ты пишешь, что хандришь. Не оттого ли это, что ты не делаешь того, что следует? По-моему, тебе следует непременно для театра писать. Отложи на время Шекспира¹¹ и напиши хорошую, новую по замыслу пьесу и будь на сей раз практичнее, т. е. чтобы легко было сцену поставить. Пожалуйста, Модинька, подумай об этом. Как только у тебя будет свойственное твоей писательской натуре дело, так тотчас всякая хандра пройдет.

К М. Чайковскому

Гамбург. 10 января 1888 года.

<...> Концерт прошел вполне благополучно. При входе оркестр встретил меня восторженно, публика поддержала, чего не было в Лейпциге. Дирижировал я покойно, но в конце до того устал, что думал – не выдержу. Аплодировали очень усердно. Сапельников¹² играл превосходно. После концерта был большой раут у директора филармонического общества Бернута. Было человек сто народа во фраках и бальных туалетах. После большой речи Бернута я сказал заранее приготовленную немецкую речь, которая произвела фурор. После того меня повели кутить. Вчера был день ужасный – я не в силах рассказать, до чего меня раздирали на части и до чего я был утомлен. Вечером было торжество в мою честь, в Tonkünstler-Verein, игрались исключительно мои вещи¹³; пресса отнеслась очень благосклонно. Посылаю тебе две статьи, пусть кто-нибудь тебе переведет их.

После вечера был отчаянный кутеж с массой очень милых и особенно благосклонных ко мне музыкантов, критиков, любителей.

Я как в тумане. Сегодня еду в Берлин. Бюлов очень любезен.

Филармонический концерт, в котором Петр Ильич выступил в Гамбурге в качестве дирижера-автора, состоял из следующей программы:

1 часть. Симфония (Оксфордская, Д-дур) И. Гайдна.

2 часть. 1) Серенада для смычковых инструментов; 2) Концерт для фп. (B-moll) в исполнении Сапельникова и 3) Тема и вариации из третьей сюиты.

Я избавлю читателя от критического разбора гамбургскими рецензентами всех этих произведений в отдельности. Эфемерный, сделанный наспех, несерьезный даже у лучших из них, он имеет интерес минуты и так же призрачен по значению в Германии, как у нас в России, да и на всем свете. В истории каждого из произведений эти отчеты могли бы быть интересны, в большинстве случаев доказывая свое бессилие произвольно повернуть в ту или другую сторону судьбу данного творения, самого в себе носящего залог жизни или смерти. Нам важно здесь только впечатление, хотя бы столь же преходящее и незначительное, которое произвела в дан-

¹¹ Перевод «Ричарда II».

¹² Василий Львович Сапельников, ученик Спб. консерватории, класса Брассена и Софии Ментер, впоследствии интимный приятель Петра Ильича.

¹³ I. Вариации для фп. op. 19, исп. Сапельников. II. Романсы: а) «Горними тихо»; б) «Зачем?», исп. г-жа Иоганна Натан. III. Романс op. 5 и «Русское скерцо» op. 1, исп. В. Сапельников. IV. Романсы «Он так меня любил» и «Али мать меня рожала», исп. г-жа И. Натан.

ную минуту музыкальная личность композитора, и поэтому я буду приводить только попытки рецензентов характеризовать ее, оставляя в стороне критику исполняемых произведений.

Ниже приводимые отзывы в данном случае имеют еще особенный интерес, доказывая, что Петру Ильичу совсем не нужен был сплошной дифирамб, чтобы считать критику своего таланта или произведения «благодарной», как он выражается в последнем письме. Когда во всем тоне статьи не чувствовалось злорадства и насмешки, он спокойно и даже с интересом относился к высказываемым порицаниям. Но зато, восприимчивый и чуткий, он умел среди вороха лестных эпитетов, улыбок и расшаркиваний почувствовать зложелание и зависть.

Самый пространственный из отзывов гамбургской прессы, И. Зитарда в «Hamburger Correspondent», говоря о программе концерта 20/8 января, где «мирно состязались Австрия и Россия в лице И. Гайдна и П. Чайковского», констатирует, что хотя победа осталась на стороне великого немца, «произведения которого и спустя сто лет остаются покрытыми свежей, утренней росой молодости», но и русский композитор вышел из борьбы с честью и достоинством. Изложив краткий curriculum vitae последнего, рецензент так характеризовал талант его: «Чайковскому нельзя отказать ни в оригинальности, ни в темпераменте, ни в смелом полете фантазии, но когда в нем заговорит дух его народности, он мчится через все препятствия вперед и, забыв и вкус, и логику, производит такой звуковой шабаш (Hexensabbath von Tonen), что мы перестаем различать и слышать что-либо. Гениальные проблески чередуются у него с банальностями, тонкие и вдохновенные штрихи с некрасивыми эффектами. В его творениях есть нечто непосредственное, порывистое, беспокойное. Но, несмотря на всю оригинальность его творений и страстность его чувства, Чайковский слишком эклектик, чтобы подняться до высоты творческой самостоятельности в высшем смысле этого слова. Оригинальность художника состоит не только в том, чтобы давать нам чуждое и необычайное. То, что обманывает внешние чувства, не удовлетворяет надолго дух. Чайковский – высокодаровитый, тонкообразованный и интересный художник, художник, который в силах волновать нас своей фантазией, – но творческой мощи, в высшем смысле слова, мы ему приписать не можем. Его творения слишком односторонне национальны, а когда перестают быть таковыми, то выступает эклектик, который ловко пользуется посторонними влияниями. Не то, *что* говорит Чайковский, ново, а *как* он говорит. Мы заметили уже, что он любит непосредственные скачки, быстро от одного минутного настроения переходит к другому, патетически вздувает переход и недостаток действительно великих и значительных мыслей прикрывает ослепительным колоритом, необыкновенными гармоническими комбинациями и живыми экзотическими ритмами. – В этих факторах, так же как и в страстности его речи, покоится главная сила Чайковского как оркестрового композитора, в то время как его камерная музыка нам представляется более зрелым и ясным продуктом его фантазии».

Эмиль Краузе в «Fremdenblatt» назвал появление Чайковского в Гамбурге «событием большого интереса». В общем, «Чайковский – большой талант, но его богатое творческое дарование в поисках за оригинальностью пошло слишком далеко и вступает на путь такой музыки, которая только тем говорит приятное, кого радуют экстравагантности и внешние эффекты».

Рецензент «Hamburger Nachrichten» нашел, что «музыка Чайковского приводит с собой в тематической изобретательности и оркестровке национальный русский элемент, которому узкие немецкие традиции в симфонических концертах неохотно дают место, хотя музыкальное искусство есть храм, где дух на всяких чуждых языках может говорить и быть понятым. А во вдохновении, оригинальности и гениальных чертах Чайковскому отказать нельзя. В своих художественных убеждениях, сочувствуя взглядам новонемецкой школы, он стоит со своим элементарным (?) творчеством посреди народно-национальной почвы, и прежде всего именно в этом отношении его музыкальные творения для нас полны интереса и, в известном смысле, достоинства и значения. Во всяком случае, многим его музыкальным темам нельзя отказать в оригинальной изобретательности, а его ритмам – в захватывающей силе, в то же время его

музыкальная техника часто радует вдохновенными гармоническими модуляциями и блестящими эффектами, хотя последние иногда более искусственно пришиты к произведению, чем в силу органической необходимости вытекают из развития формы произведения».

Желая опять уединиться на время между гамбургским и берлинским концертом, долженствовавшим состояться 8 февраля/27 января, Петр Ильич на этот раз избрал Магдебург и после однодневной остановки в Берлине проехал туда 11 января, вечером.

К М. Чайковскому

Магдебург. 12/24 января 1888 г.

Модя, голубчик, опять я доволен, что могу немножко вздохнуть и собраться с мыслями. Последние дни в Гамбурге и день в Берлине были ужасны. В Берлине слышал произведение нового немецкого гения, Рихарда Штрауса. Бюлов носится с ним, как некогда с Брамсом и с другими. По-моему, более возмутительной бездарности, полной претензии, никогда еще не было. Весь день вчера я бегал, как одурелый. Какая досада! – Я получаю теперь отовсюду самые лестные приглашения дирижировать своими сочинениями в больших музыкальных центрах и не могу их принять. Писал ли я тебе, что в Париже мое дело устроилось наилучшим образом. Я своего концерта не даю, но Колонн приглашает меня 11 и 18 марта участвовать в его концертах в Chatelet, т. е. в эти дни он отдает мне вторые половины своих концертов. Магдебург оказался чудесным, великолепным даже городом. Гостиница, как водится, здесь чудная; сегодня иду в оперу. Программа берлинского концерта видоизменилась по совету Бюлова, Вольфа и многих. Они решительно требуют, чтобы я не играл «Франчески». Они, вероятно, правы. Я многому научился за это время, многое понял, чего прежде не понимал. Только писать об этом было бы долго. Потребности немецкой симфонической публики совсем не те, что у нас. Я понял теперь, почему обоготворяют Брамса, хоть мое мнение о нем нисколько не изменилось. Узнай я это раньше, может быть, я даже и писать иначе стал. Напомни мне по возвращении рассказать про знакомство со стариком Аве-Лалеманд, глубоко тронувшим меня.

Сапельников произвел в Гамбурге настоящую сенсацию. Я его взял с собой в Берлин, а теперь отправил в Дрезден; потом мы съедемся в Берлине, и он будет там играть на двух больших обедах у Вольфа и у Бока. Может быть, что-нибудь из этого выйдет. Он в самом деле большой талант. По душе – это прелестный, добрый юноша.

К В. Э. Направнику

Магдебург. 12/24 января 1888 г.

<...> Про меня в газетах пишут большие статьи: много бранят, но относятся с гораздо большим вниманием, почтением и интересом, чем у нас. Некоторые суждения очень курьезны. По поводу вариаций из 3-ей сюиты один критик написал, что одна из них изображает заседание Синода, а другая – динамитный взрыв¹⁴.

К П.И. Юргенсону

Магдебург. 13 января 1888 г.

Милый друг, я опять удрал и выбрал Магдебург, где нахожусь уже вторые сутки, сегодня вечером еду в Лейпциг на несколько дней. Провел один день в Берлине в невообразимой суете, имел большие переговоры с Вольфом о разных вещах, виделся с Битовым, с целой массой

¹⁴ Плохо понимая немецкий язык и всегда очень бегло, невнимательно читая газеты вообще, а отзывы о себе в особенности, П. И. впал здесь в заблуждение. Критик «Hamburger Correspondent», Зиттард, вовсе не приписывает вариациям изображение Синода и динамитного взрыва, а говорит, что «две вариации (VII и VEU) несомненно могли бы служить как прелюдия к заседанию Св. Синода – до такой степени ортодоксальна их музыка». Про IX же вариацию тот же критик, называя ее дикой и варварской, говорит: «Из этого оркестрального динамитного взрыва нас освобождает, как ангел упования, голос скрипки-соло». «Hamburger Correspondent» 21/1—1888 года.

людей. И опять терзает меня. Представь, что этот сумасшедший, три недели не давая о себе ничего знать, телеграфирует мне, что я *должен* приехать 24-го на репетицию концерта в Дрезден, что я *должен* после Берлина на другой день дать *свой* концерт в Дрездене, одним словом, распоряжается мной и моим временем, как своей собственностью. Я отвечал решительным отказом, и тогда одна за другой стали летать от него телеграммы, что я его обманул, что я его разорил и т. д. и т. д. Этот человек мне жизнь отравляет.

Я получил два приглашения через Вольфа: 1) дирижировать в концерте Hof-Capelle в Веймаре и 2) в филармонии в Дрездене. Очень досадно, что пришлось отказать, ибо все это в такие числа, когда я занят в Берлине и Праге.

<...> Бюлов и все берлинцы решительно отсоветовали мне играть в моем берлинском концерте «Франческу». Вместо нее будет «1812». Уверяют, что эту последнюю здесь очень любят.

К М. Чайковскому

Лейпциг. 20 января 1888 г.

<...> Ну, как тут будешь описывать все, что переживаешь? Постоянная смена тоски, несносных часов с очень приятными минутами. Я думал провести здесь несколько дней тихо, но оказалось, что веду жизнь разгульную, и весь день уходит на обеды, визиты, посещения концертов и театров, ужины в компаниях и т. д. Отраду мою составляют Зилоти, Бродский (в жену и свояченицу которого я совершенно влюблен), Григ с женой (очаровательные люди). Но и кроме их нашлось здесь и ежедневно прибывают знакомства с симпатичными людьми. Сапельникова я покамест вожу с собою. Здесь я перезнакомил его со многими лицами из музыкального мира, и везде, где он играет, он производит сенсацию. Это огромный талант, я в этом ежедневно все больше и больше убеждаюсь. Из Берлина он проедет прямо в Петербург и посетит тебя. Я ужасно его полюбил. Трудно выдумать более симпатичного, доброго мальчика. По части музыки слышал здесь новую оперу Вебера, т. е. оперу, которую он оставил в виде эскизов, и только теперь ее докончили, аранжировали и оркестровали. Музыка очень милая, но сюжет глупый (он называется «Die drei Pintos»). Слышал одно квартетное собрание, в котором исполнялся квартет необычайно даровитого итальянца Бузони. Мы с ним очень быстро познакомились и сдружились. У Бродского был музыкальный вечер, на коем я восхищался новой сонатой Грига. Григ и его жена до того курьезны, симпатичны, интересны и оригинальны, что этого в письме не выразишь. Я считаю Грига громадно талантливым. Сегодня обед у Бродского с Григами; вечером экстраординарный концерт в пользу фонда на памятник Мендельсону, завтра публичная репетиция гевандгаузовского концерта (в программе симфония Рубинштейна), потом я даю здешним друзьям обед в знаменитом здешнем ресторане, а в 5 часов еду в Берлин. Господи, как я устал!

К П. И. Юргенсону

Берлин. 22 января 1888 года.

<...> Прощальный обед у Кейля был очень приятный и веселый (были Фритче, Краузе, Зилоти, три немца-поклонника, Григ, Бродский, Блютнер), но стоил ужасно дорого: 250 марок!!! Вообще деньги летят. Третьего дня с Сапельниковым приехал сюда. Вчера была первая репетиция.

Музыканты приняли великолепно, играли чудно и после каждой пьесы сильно аплодировали. Вчера же в 6 часов был обед у Вольфа. Сегодня большой обед у Бока. Я буду сидеть рядом с Арто...

23 января.

<...> Сегодня отделался от N. Кончилось все очень мирно, но у меня в бумажнике 500 марками стало меньше. Нисколько не сожалею, ибо дал бы и больше, лишь бы никогда больше не видеть этого господина.

К М. Чайковскому

23 января 1888 года. Берлин.

Голубчик Модя, уже три дня я здесь. Писать было решительно некогда. На другой день по приезде была первая репетиция. Музыканты приняли меня безусловно хорошо, даже восторженно. Я делаю большие успехи в дирижировании. В тот же день был большой обед у Вольфа во фраках и бальных туалетах.

Обед этот был дан по моему желанию, чтобы услышали Сапельникова разные тузы. Были все критики. Сапельников произвел фурор. Кстати, о нем. Я с ним неразлучен вот уже почти три недели и до того полюбил его, до того стал он мне близок и дорог, что точно будто самый близкий родной. Со времен Котека я еще никогда никого так горячо не любил, как его. Более симпатичной, мягкой, милой, деликатной, благородной личности нельзя себе представить. Прошу тебя, когда он приедет, не только принять его хорошо, но познакомить его со всеми нашими родными. Я считаю его (да и не я один) будущим гением-пианистом. Вчера тоже был торжественный обед у Бока. На нем была Арто. Я был невыразимо рад ее видеть. Мы немедленно подружались, не касаясь не единым словом прошлого. Муж ее, Падилла, душил меня в своих объятиях. Послезавтра у нее большой обед. Старушка столь же очаровательна, сколько и 20 лет тому назад.

26 января.

Репетиция. Бюлов явился и был любезен. Концерт Зилоти. Завтрак с Сашей Зилоти и Васей. Прогулка по улицам и заход на станцию насладиться зрелищем того места, откуда уезжают на Русь. Дома. Григи приехали. С ними вечер у Арто. Пение. Было приятно. Парадный ужин.

27 января.

С Григами и Васей на мою последнюю репетицию. Все вместе потом завтракали у Дресслера. Бродский тоже с нами. Прогулка. Немного в суете спал. Концерт. Успех. Ужин, данный мне у Дресслера. С Васей в кафе Бауер. Я на седьмом небе.

Ушат холодной воды (au figure).

К Н. Ф. фон Мекк

Лейпциг. 30 января 1888 года.

Дорогой, милый друг мой, концерт мой в Берлине был очень удачен. Я имел дело с превосходнейшим оркестром и с музыкантами, которые с первой же репетиции выказали в отношении меня величайшее сочувствие. Программа была следующая:

- 1) Увертюра «Ромео и Юлия».
- 2) Фортепианный концерт. Играл Зилоти.
- 3) Интродукция и fuga из 1-ой сюиты.
- 4) Анданте из 1-го квартета.
- 5) Романсы, пела г-жа Фриде¹⁵.
- 6) Увертюра «1812».

Публика принимала меня восторженно. Само собой разумеется, что это очень приятно, но я все более и более чувствую себя утомленным и просто не понимаю, как буду в состоянии выдержать все предстоящее.

¹⁵ Не наша, известная оперная артистка Мариинского театра, а другая, очень ценимая в Германии концертная исполнительница.

Жизнь моя в Берлине была просто мученичеством; не было ни единой минуты для себя, с утра до вечера приходилось или принимать гостей, или быть в гостях. Узнаете ли вы в этом путешествующем по Европе русском музыканте того человека, который еще немного лет тому назад прятался от жизни в обществе и пребывал в уединении за границей или в деревне??..

В Праге меня ожидает целое торжество. На все 8 дней, которые я там проведу, уже составлена и прислана мне программа бесчисленных оваций и торжественных приемов. Они хотят придать этому концерту характер патриотической антинемецкой демонстрации.

Это меня тем более смущает, что я в Германии был принят самым дружелюбным образом.

Привожу выдержки из отзывов следующих газет о концерте 27 января в Берлине.

«*Vossische Zeitung*», № 68:

«Чайковский не только среди композиторов своей национальности, но вообще между музыкальными сочинителями настоящего времени один из наиболее одаренных. Он обладает вдохновением, своеобразностью изобретения и владеет как старыми, так и новыми формами искусства».

«*National Zeitung*», № 89:

«Полный зал, напряженное внимание и живой успех концерта 8 февраля доказывают, что и у нас нет недостатка в друзьях произведений русского композитора Чайковского. Завербовал он их своими мелкими фп. произведениями, написанными под влиянием Шопена. Как в Шопене замечаются три элемента: славянская родина, французское происхождение и изучение немецких мастеров, так и в Чайковском последнее одерживает победу над врожденной славянской природой. Чисто славянской музыки не было и не будет, а есть только славяно-немецкая – лучшими представителями которой являются А. Рубинштейн и П. Чайковский. Последний владеет самыми разнообразными оркестровыми формами. Безграничное господство над звуковыми красками в его полном распоряжении, а что он нелегко утомляет и не умеет быть неинтересным, доказывает поведение публики концерта 8 февраля (анданте квартета было повторено)».

«*Berliner Borsen-Courier*», № 73:

Рассыпаясь в похвалах «необыкновенно симпатичной личности композитора», и выбору произведений, и самим произведениям, и исполнителям, жалеет только, что зал не был полон. Он приписывает это дурной погоде.

«*Berliner Tageblatt*», 9 февраля 1888 г.:

Хвалит все произведения, исполненные в концерте 8 февраля, не вдаваясь в критическую оценку таланта Петра Ильича.

Несмотря на рукоплескания публики и эти лестные отзывы берлинской прессы из трех городов Германии, где Петр Ильич показывал себя, в краткости и самих похвалах, спешных, бесцветных, чувствуется, что наименее значительное впечатление он произвел в Берлине, что среди тысяч других интересов громадной столицы дебют русского композитора далеко не был таким событием дня, как в Лейпциге и Гамбурге. Краткая помета в дневнике 28 января об «ушате холодной воды» свидетельствует, кроме того, о каком-то разочаровании в канунных овациях. Боюсь утверждать, но мне чудится, что Петр Ильич узнал об искусственности их, о «принятых мерах» к успеху, о «ватности»¹⁶ концерта, столь практикуемой, увы, в больших городах Европы.

¹⁶ «Wattenkonzerte», т. е. концерты, полные даровой и искусственно восторженной публики.

Во всяком случае, не Берлин, а Лейпциг настоящим образом заинтересовался Петром Ильичом в эту поездку, и после Берлина он с удовольствием вернулся туда на несколько дней.

К П. Чайковской.

Лейпциг. 30 января 1888 года.

<...> Сюда я приехал, ибо обещал присутствовать на концерте, который Лист-ферейн хотел устроить в мою честь, но концерт не состоится. Зато вчера, по моей просьбе, дали в театре оперу Вагнера «Мейстерзингеры»¹⁷, которую я никогда не слышал. Сегодня утром меня разбудил оркестр «Боже царя храни». Оказалось, что это мне серенада. Они около часа играли под моим окном, и вся гостиница высыпала глазеть и слушать.

Отрадным впечатлением волшебного исполнения Никиша и трогательной овацией в виде серенады закончилось первое артистическое путешествие Петра Ильича по Германии. В Богемии и Франции его ждал несравненно более блестящий прием, но носивший совсем другой характер.

II

12 февраля (31 января) Петр Ильич, сопровождаемый А.И. Зилоти, переехал границу Богемии, и сразу обозначилась торжественность предстоящего приема в почете, оказываемом железнодорожным начальством. В Кронуне, одной из последних станций до Праги, депутации разных обществ явились приветствовать гостей. На пражском вокзале их ожидала торжественная встреча с председателем Русского кружка, доктором Вашатым, приехавшим нарочно к этому дню из Вены, – во главе. Он обратился к Петру Ильичу с речью на русском языке, а председатель Клуба художников, доктор Стракатый – на чешском. Последняя продолжалась около 10 минут, и Петр Ильич, выслушав ее с непокрытой головой, отвечал несколькими словами благодарности; затем дети подносили ему цветы, и громадная толпа кричала «слава!». По дороге от вокзала к гостинице Hotel de Saxe стояли двумя сплошными стенами пражцы и криками «слава!» приветствовали гостя. Помещение в гостинице и экипаж были предоставлены ему даром от Клуба художников.

Вечером Петр Ильич был приглашен в театр на представление «Отелло» Верди, где ему была предоставлена ложа. Ригер, «вождь чешского народа», первый пришел знакомиться и приветствовать гостя, причем и он сам, и дочь его говорили по-русски; вслед за ними явилась за тем же целая вереница выдающихся на разных поприщах чешских деятелей. После спектакля состоялся многолюдный ужин в Hotel de Saxe.

На другой день, утром, к Петру Ильичу пришел Дворжак, и оба композитора сразу сошлись по-приятельски. Днем, в сопровождении директора музея и настоятеля Русской церкви в Праге, отца Апраксина, Петр Ильич осматривал достопримечательности города. Вечером в честь его дан был парадный ужин известным чешским издателем и книгопродавцем Валечком, а после ужина Петр Ильич должен был посетить костюмированный бал, где из ложи, у всех на виду, смотрел на танцы.

2 февраля после обедни в Русской церкви, осмотра достопримечательностей, опять в сопровождении директора музея, обеда у Дворжака в честь Петра Ильича был дан музыкальный вечер в Художественном клубе (Umelecka Beseda).

3 февраля была первая репетиция и затем отдых от официальных торжеств.

4 февраля, днем, Петр Ильич, в сопровождении прикомандированных к нему чичероне, продолжал осматривать достопримечательности и, между прочим, был в ратуше. Когда он

¹⁷ Под управлением Артура Никиша.

вошел в зал заседания, где было присутствие, все встали и приветствовали его; вечером Русский кружок дал в честь русских гостей «чайный»¹⁸ увеселительный вечер. В момент прибытия Петра Ильича хор певчих запел «Многая лета», затем начался небольшой концерт, окончившийся представлением пьесы «Медведь сосватал», сыгранной любителями-чехами.

5 февраля вечером была устроена серенада с факельным шествием певческого общества «Глагол». Петр Ильич прослушал пение на балконе, а потом сошел вниз и обратился к хору с речью, в которой благодарил за оказанную честь и обещал написать что-нибудь для общества. Восторженными криками «ура!», «слава!» закончилось это торжество.

6 февраля утром Петр Ильич был приглашен в Студенческое общество, где ему представлялись студенты; в своем дневнике он так отметил это посещение: «торжественный, глубоко тронувший меня прием». На речь одного из студентов Петр Ильич отвечал речью. Провождаемый криками «слава!», «на здраво!», он отправился на генеральную репетицию концерта. Вечером в городском клубе («Мещанская беседа») был устроен блестящий вечер, с «овациями без конца», как отмечает в своем дневнике виновник торжества.

7 февраля состоялся концерт в Рудольфинуме. В программу его вошли: 1) «Ромео и Джульетта». 2) Концерт фп. В-moll в исполнении А. Зилоти. 3) Элегия из сюиты № 3. 4) Концерт скрип. в исполнении Галира и 5) «1812 год». Из всех этих вещей особенными овациями сопровождалось исполнение последней увертюры. Петр Ильич так отметил впечатление этого концерта: «Конечно, это один из знаменательнейших дней моей жизни. Я очень полюбил этих добрых чехов... да и есть за что! Господи! Сколько было восторгов, и все это не мне, а голушке-России».

8 этот же день, в 7 часов, в Hotel de Saxe состоялся парадный банкет, на котором Петр Ильич прочел по-чешски составленную им речь. Перевод для него был сделан русскими буквами с указаниями ударений, так что все прочитанное было понято присутствовавшими и произвело большое впечатление. Вот эта речь:

«Господа, когда мне мой друг, Велебин Урбанек, сделал от имени «Умелецкой беседы» предложение, чтобы я приехал в Прагу и продирижировал здесь концертом, составленным из моих сочинений, то я обрадовался этому от всей души.

Живописная красавица-Прага, обладающая столь редкими кладами старинного искусства и воспоминаниями седой старины, конечно, очень интересна для каждого иностранца, но понятно, что сердце славянина бьется особенно сильно, когда ему представится возможность посетить ваш родной город. Обрадован я был еще и потому приглашением «Умелецкой беседы», что мне представился случай познакомить один из оживленнейших музыкальных центров Европы с некоторыми моими новыми сочинениями в исполнении прославившихся своим искусством чешских музыкантов.

Но была еще одна причина, почему мне было особенно приятно посетить Прагу. Во время моей многолетней музыкальной деятельности, от ее начала до последнего времени, суждено мне было близко сталкиваться с музыкантами-чехами, которые отдали свой талант, свои знания художественной деятельности в России. Знаменитый и, по-моему, самый выдающийся скрипач нашего времени, Фердинанд Лауб, был моим товарищем как профессор Московской консерватории. Нас связывала нежнейшая и сердечнейшая дружба. Многим из вас, конечно, известно, что я старался по своим силам послужить памяти его сочинением, которое многие считают лучшим из моих произведений.

Крепкая, близкая, даже на миг не омраченная дружба связывает меня еще и с другим выдающимся артистом чешского происхождения, с Эдуардом Направником. Этот замечательный музыкант оказал мне много дружественных услуг, и его душевные качества: прямота, чест-

¹⁸ Так называют вечера в Праге, где гостей угощают чаем.

ность, деловитость, готовность служить каждому, кто в нем нуждается, имеют во мне давнего и постоянного почитателя.

Если я перечту всех наиболее выдающихся чехов, которые посвятили себя музыкальной деятельности в России, то окажется, что все они, более или менее, мои близкие друзья. Гржимали, Палечек, Авранек, Главач, Фюрер, Шуберт, Черни и другие научили меня сердечно любить и уважать их национальность.

Итак, когда состоялось мое приглашение в Прагу, я предчувствовал, что найду в вашей среде теплый и сердечный прием, я знал, что число моих чешских друзей очень увеличится. Я был убежден, что переживу много радостных минут. Но то, что совершается здесь в течение этой недели, эти горячие выражения симпатии, которые я встречаю от всех без исключения, начиная с самых выдающихся лиц до последнего служителя в гостинице, где я живу, – наконец, прием, которым меня сегодня удостоила пражская публика, – все это превзошло мои самые смелые надежды и ожидания.

Не из неуместной скромности, но по правде, я должен сознаться, что оказанные мне почести превосходят меру моих заслуг настолько, что они потрясли бы и уничтожили меня, если бы я не умел отделить ту часть симпатии, которая касается меня лично, от той, которая в моей особе воздается чему-то гораздо высшему и важнейшему, чем я. Да! Если бы не было этого сознания, которое ставит меня на настоящее место и дает моим силам возможность перенести весь бесконечный восторг и счастье, то я не нашел бы средств выразить вам мою благодарность. Мой слабый, бедный голос слишком незначителен в сравнении с этими далеко раздающимися рукоплесканиями и этим хором похвал, который я слышу уже целых восемь дней.

Господа, поверьте, что там, где живет братский и близкий вам народ, составляющий то значительное и важное, о котором я только что помянул, сумеют умно и сердечно ответить на ту часть гостеприимного отношения вашего, которая не ко мне направлена.

Что касается меня, то я уверяю вас, что дни, которые я провел здесь, суть лучшие и счастливейшие всей моей жизни. Благодарность моя за это невыразима и безмерна. Считаю долгом закончить тост за художественное учреждение, которое удостоило меня своим приглашением, чтобы я по мере возможности содействовал слабыми силами к его процветанию. Господа, я провозглашаю «Наздар Умелецкой беседе!».

8 февраля Петра Ильича пригласили осмотреть частный музей и посетить дамский клуб, где его приветствовали речами, подношением цветов и роскошного альбома.

9 февраля состоялся второй концерт в помещении оперного театра. Программа его состояла из: 1) серенады для смычковых инструментов; 2) вариаций из сюиты № 3; 3) фортепианного соло в исполнении Зилоти и 4) увертюры «1812». В заключение был исполнен балетной труппой пражской оперы акт из балета «Лебединое озеро». Овации были еще горячее и задушевнее, чем на первом концерте, подношения еще роскошнее. В дневнике своем Петр Ильич, говоря об этом концерте, отмечает: «Огромный успех. Минута абсолютного счастья. Но только минута!» После концерта был торжественный ужин, в котором почти исключительно принимали участие музыканты.

10 февраля, вечером, сопровождаемый напутственными речами, усыпанный цветами, Петр Ильич покинул гостеприимную Прагу.

В описании этих торжественнейших и самых блестящих десяти дней жизни Петра Ильича я ограничиваюсь этим сухим перечнем, не приводя ни речей, ни статей по адресу гостя, потому что задушевность, даже при красоте и талантливости, изошряясь на возвеличение и хвалу в минуты увлечения, – имеет значение, прелесть и долговечность цветов, усыпавших путь триумфатора. Благоуханные искренностью и прекрасные уместностью в данную минуту, все эти слова, потраченные на прославление Петра Ильича, взору спокойного читателя покажутся сухими, бессодержательными и однообразными. К тому же, как отлично понимал сам Петр

Ильич, значение национальных симпатий здесь отодвигало на задний план чисто артистическое, которое нам наиболее интересно.

Хотя главная цель поездки Петра Ильича за границу была – познакомить Европу со своими произведениями, содействуя их распространению за пределами родины, но при этом, несомненно, хотя в значительно меньшей мере, – узнать воочию степень уже достигнутой им там известности и получить соответствующую дань почета. Мнительный и скромный в этом отношении, он не требовал многого, и даже то, что встретил в Германии, уже значительно превосходило его ожидания, но пражские чествования превзошли самые фантастические представления о том, что он мог найти в Европе. Эти десять дней составляют высшую точку земной славы, которой Петру Ильичу суждено было достигнуть при жизни. Пусть девять десятых встреченных им оваций относились не к нему, а к России, но самый факт, одно то, что именно он, а никто другой был признан достойным сосредоточить в себе те симпатии, которые чехи питают к русским, льстило его самолюбию, показывая, как известно его творчество. Льстило его самолюбию и то, что чествовал его так народ, по любви, по уровню развития массы, по исполнительским дарованиям самый музыкальный в мире, а более всего, что Прага, первая признавшая гениальное значение Моцарта, одна воздавшая ему при жизни должное, хоть в чем-нибудь сроднила судьбу его, Петра Ильича, с судьбой немецкого гения. Отрадно было Петру Ильичу, что те, кто дал ему «минуту абсолютного счастья», были потомки людей, давших изведать сладость земной славы его любимцу, учителю, образцу всех достоинств артиста и человека. И это неожиданное совпадение было, может быть, лестнее всего, что когда-либо получал Петр Ильич при жизни, это была высшая из высших наград, на которую он когда-либо смел рассчитывать.

Изведав высочайший момент своей славы, Петр Ильич извещал и одну из тягчайших обид. Русская пресса ни одним словом не промолвилась о пражских чествованиях русского композитора. Ему чудилось в этом глухое недоброжелательство и тем более удивляло и огорчало, что, будучи, несомненно, одним из важнейших событий его жизни, все эти торжества были также событием и для чехов. Много лиц, подолгу, десятками лет жившие в Праге, говорили ему, что не видали подобного чествования какого-либо иностранца. И вот, сознавая какую огромную долю восторженных приветствий он должен был уступить России вообще, Петру Ильичу было больно и обидно, что она этого не знает и что из-за отношения прессы к его личности выражения горячих и искренних симпатий чехов к русским не только остаются без ответа, но даже не дошли до них.

К А. Чайковскому

Прага. 10 февраля 1888 года.

Голубчики мои Толя и Паня, я провел здесь 10 дней и не писал ни единого письма, ибо никакой возможности не было. Я пишу дневник и впоследствии могу рассказать подробно все, что со мной случилось за это время, но описать не могу. Меня встречали здесь как какого-то представителя всей России. Встреча в первый день была грандиозная. С тех пор все мое пребывание было вереницей всяких празднеств, торжеств, осмотров достопримечательностей, серенад, репетиций, концертов и т. д. Я нашел много чехов, говорящих по-русски. Меня с утра до вечера угощали, возили, всячески ласкали и баловали. Самые концерты (их было два) имели колоссальный успех. Вчерашний концерт был в театре, и по окончании его давался превосходно обставленный 2-ой акт «Лебединого озера». Я оказался оратором, сказавшим не только множество ответных речей на всех праздниках, дававшихся в мою честь, но даже на большом банкете прочел длинную речь по-чешски к великой радости присутствовавших. Всего не перескажешь в коротеньком письме. Усталость моя превосходит всякое вероятие, и я не понимаю, откуда у меня берутся силы выдерживать все это. Сегодня еду в Париж. Все время здесь был со мной Зилоти, и за 2 дня до 1-го концерта приехал Юргенсон. Оба они сейчас уехали, а я сел за письма, которых мне нужно написать так много, что для каждого хватит лишь маленького

листочка. Я мечтаю, что в неотдаленном будущем увижу вас. Господи, когда же настанет спокойствие?! Однако я должен признаться, что в Праге испытал много чудных минут.

III

Совсем другого рода овации ожидали Петра Ильича в Париже.

Здесь тоже успех его превзошел самые смелые предположения. Здесь тоже с утра до ночи, но еще в течение вдвое большего времени, Петр Ильич был предметом самых лестных выражений сочувствия. Но характер их так же разнился с чешским, как разнятся чех и француз в своих отношениях и к самой музыке, и к русскому народу. Чех любит и то, и другое несравненно глубже; и то, и другое в жизни его играет роль несравненно более значительную. Нет страны, где бы музыкальное искусство было более ценимо и распространено. Нет также и народа, где бы все русское встречало более сочувствия не в силу временных веяний, а в силу кровного родства с нами. Поэтому и как музыкант, и как русский Петр Ильич встретил там искренность и непосредственность симпатий, какой нельзя было ожидать от французов. Правда, некоторая доза политического оттенка примешивалась и к парижским торжествам. Это было время разгара франко-русского сближения, и все русское было уже модно. Многие совершенно чуждые музыкальному искусству французы считали долгом заявить свое сочувствие Петру Ильичу потолику, поколику он русский – но все это, как и самые симпатии французов к нам, не покоилось на прочном основании национального сродства, а эфемерной политической комбинации выгод двух могущественных держав. Вследствие чего выразителем хотя бурного и страстного, но непрочного увлечения всем русским могли быть шляпы «Kronstadt», галстуки «franco-russe», овации клоуну Дурову, пение «Боже царя храни» рядом с марсельезой, пожалуй, – интерес «свысока», как к курьезу, к нашей литературе и искусству, но отнюдь не радостная встреча двух национальностей на почве одинаковых, сродных симпатий и стремлений ввысь и вглубь. И результатом кронштадтских, тулонских, парижских и какие там еще были торжеств не могли явиться понимание и любовь к Пушкину, Гоголю и Островскому, к Глинке, Даргомыжскому и Серову, а только проходящая мода, благодаря которой Л. Толстой и Достоевский были до известной степени оценены, но далеко не поняты во всем их настоящем величии. Моден был и Петр Ильич, и это сообщило приему его парижанами большой блеск, но блеск чисто внешний; того отзвука своим творениям, который придал такую теплоту и искренность пражским овациям, здесь он не нашел.

К тому же, торжества в честь композитора – событие для небольшой столицы небольшой страны, как Богемия, – не могли быть таковыми для многомиллионной столицы мира, волнующей сотнями интересов и забот несравненно значительнейших. Можно без преувеличения сказать: вся Прага приветствовала Петра Ильича; в Париже – музыканты, музыкальные дилетанты, соотечественники, газеты, увлеченные франко-русскими веяниями, и та разношерстная толпа, которая следит за газетными новостями и рекламами.

Чтобы закончить сравнение пражских оваций в честь Петра Ильича, я укажу на последствия тех и других. Прошло 13 лет, и в Праге до сих пор оперы Петра Ильича не сходят с репертуара, и симфоническая музыка известна и любима, как в России. В Париже – он не только почти не исполняется совсем ни в театре, ни на концертных эстрадах, но даже имя его, в остальной Европе все более чтимое, не признано до сих пор достойным быть включенным в список авторов, допускаемых в концертах Парижской консерватории, а во главе ее стоят люди, расточавшие в 1888 году выражения своего сочувствия. Не объясняется ли это исключительно той глухой антипатией французов к русскому духу, которую Петр Ильич делит вместе с великими предшественниками своего искусства, так и с представителями всего высокого и глубокого, что дала Россия?

Петр Ильич приехал в Париж 12 февраля и сразу окунулся в омут суетливого, почти постоянного общения с людьми. Чуть ли не прямо с вокзала ему пришлось присутствовать на репетиции своей струнной серенады, которую разучивал Колонн со своим оркестром для парадного вечера в доме Бенардаки и которой должен был дирижировать сам автор.

Н. Бенардаки, женатый на г-же Лейброк, сестре трех очень известных в России оперных артисток¹⁹, имел роскошный отель в Париже, где гостеприимно собирал весь цвет музыкально-артистического Парижа. В качестве соотечественника и музыкального мецената он первый дал сигнал к чествованиям Петра Ильича в Париже, устроив у себя музыкальный вечер с участием оркестра Колонна, своей супруги и свояченицы²⁰, пользовавшихся репутацией прекрасных салонных певиц, а затем таких первоклассных исполнителей, как братья Решке, Лассаль, Диемер, Тафанель и Брандуков. Кроме серенады для смычковых инструментов, на вечере этом Петр Ильич дирижировал еще *Andante cantabile* 1-го квартета и аккомпанировал всем солистам. И вот в хлопотах об этом вечере, в репетициях и оркестра, и отдельных исполнителей прошли первые дни пребывания в Париже. Сверх этого, по настояниям своего издателя, Маккара, игравшего роль Вергилия в мытарствах композитора, Петр Ильич должен был делать визиты выдающимся французским музыкантам и редакциям популярнейших газет в отплату за ту готовность рекламировать его приезд, которую они помимо его забот выказали.

Блистательный музыкальный вечер собрал более 300 приглашенных в салонах Бенардаки. Тут были все представители того *tout Paris*, перед которым благоговеют и артисты, и ценители всей Франции. Милостивое внимание, один факт присутствия, одобрителный шепот кучки этих пресыщенных и, в сущности, равнодушных ко всему прекрасному людей есть высшая награда, о которой грезят артисты всех стран, – патент на внимание не только Парижа, но всего привилегированного мира.

И Петр Ильич был искренно благодарен добрым хозяевам этого вечера за неожиданную и совершенно необходимую в условиях парижской жизни рекламу, которую они ему подарили. Содействовать успеху ее, бегать по квартирам исполнителей для репетиций отдельных номеров, благодарить их за внимание он считал необходимой оплатой за оказываемую ему услугу; выступить в качестве дирижера перед этим собранием несерьезных дилетантов, сплоченных, кстати сказать, несравненно в большей степени тщеславием, чем любовью к искусству, добиться их ленивого одобрения – он считал лестным и значительным. Но, зная, что это ему стоило несравненно большего утомления и хлопот, чем дебют перед таким настоящим, достойным его судом, как суд в лейпцигском Гевандгаузе, – невольно жалеешь даром потраченных сил и испытываешь чувство обиды за художническое достоинство нашего композитора. Когда видишь его, расстроенного, утомленного и, судя по дневнику, очень несчастного, среди чуждой толпы, в раздушенном салоне, среди блеска туалетов и бриллиантов архиизящных дам, расфранченных и безупречных фраков, завтра в том же составе долженствующих «консакрировать» успех новой шансонетной певицы или танцы Лои-Фюллер; – невольно сетуешь на судьбу, что она не оставила его в деревенской тиши, среди интимной, родной обстановки, здорового физически и морально, спокойного, бодрого, обдумывающего план нового творения. Слава Богу еще, что Петр Ильич, добровольно подвергая себя этой пытке, утешался мыслью, что «это нужно», и не дожидаясь настоящего времени, когда так ясно стало, что «этого вовсе не было нужно», ибо нигде путем больших жертв ради популярности своих произведений он не достиг меньших результатов, как в Париже.

¹⁹ Старшая из них, под псевдонимом Михайловской, долго была лирическим сопрано Мариинского театра, вторая – контральто, под псевдонимом Михайловской 2-й, особенно была известна на провинциальных сценах, и третья, под именем Корбиль, наиболее талантливая, была очень популярна и в столицах, и в провинции как грациозная и симпатичная опереточная примадонна.

²⁰ Тогда девица О. Лейброк, ныне супруга адмирала Скрыдлова.

Блеск этого дебюта удесятерил количество знакомств, а с ними приглашений и визитов. Те из парижских музыкальных светил, которых не было в Париже летом 1886 года, сошлись с Петром Ильичом теперь. И все, начиная с Гуно, Массне, Паладиля, Гиро, Жонсьера, Тома, выказывали тончайшую предупредительность и сочувствие. Очень холодно и величаво обошелся с ним только автор «Сипора» и «Саламбо», что весьма мало печалило Петра Ильича, ибо он, со своей стороны, считал ничтожным дарование этого господина, смешною – его тенденцию, совершенно непонятным – его успех, впрочем, не заходящий за пределы Франции. – Из виртуозов, которых Петр Ильич узнал в это время, больше всего впечатления на него произвел Падеревский: «великолепный пианист», говорит он о нем в своем дневнике. – Среди лиц, не имеющих касательства до музыки, более всего ему доставила удовольствие встреча с Каранд-Ашем, которого он в последний раз видел в начале семидесятых годов в Москве мальчиком и теперь узнал знаменитостью Парижа.

Популярность музыки Чайковского дошла в Париже до того, что как раз во время пребывания там Петра Ильича появился роман²¹, в котором большую роль играет романс «Нет, только тот, кто знал». Петр Ильич ужасно был польщен и шутя хвастался этим гораздо более, чем восторженнейшими отзывами музыкальной критики.

²¹ «Le Froc» par Emile Goudeau, 1888. Paris. Ollendorff.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.